## П. Б. СТРУВЕ

# Константин Леонтьев

### I

Помню с чрезвычайной отчетливостью, как в годы моего раннего отрочества, когда все увлекались и были полны Достоевским — тогда слышны были еще звуки его Пушкинской речи и память о его национальных похоронах была еще жива, — в окне Шигинского книжного магазина во флигельке Пажеского корпуса, на Садовой, мне бросилась в глаза брошюра в серой обложке: *К. Леонтьев*. Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой. Я тогда же купил эту брошюру. Я ее не понял, но почувствовал, что какой-то *новый* сильный писатель с совсем неожиданной стороны нападает на плохо еще знакомого мне, но почитаемого Достоевского и что это *очень интересно*.

Гораздо позже, лет через 12–15, я наткнулся на письма К. Н. Леонтьева, в течение ряда лет печатавшиеся в «Русском обозрении». Вспомнив серую обложку напечатанной в Москве, кажется в Катковской типографии, брошюры, на которой стоит 1881 или 1882 год, я сразу и окончательно из этих писем почувствовал, что в лице уже умершего Леонтьева (он скончался в 1891 г.) русские имеют почти никому не известного, большого и прямо *гениального мыслителя*. Через двадцать лет, уже редактором «Русской мысли», я всячески подхватывал все новые материалы о Леонтьеве и всемерно содействовал их опубликованию.

Вкратце жизнь Леонтьева такова. Родившись в хорошей дворянской семье, Константин Николаевич Леонтьев*, никогда не

---

* Ниже везде ссылки относятся к книге Н. А. Бердяева о Константине Леонтьеве, мой отзыв о которой см.: «Возрождение» от 27 мая. У меня сейчас нет под руками сочинений Леонтьева, и я пишу на память и пользуясь весьма обстоятельной книгой Бердяева.

пользовавшийся достатком, по практическим соображениям избрал карьеру врача и, еще не кончив курса, попал лекарем на войну, в Крымскую кампанию. Был затем в деревне домашним врачом, для того чтобы вскоре бросить врачебную деятельность и отдаться литературе. Литература не кормила. Леонтьев поступил на консульскую службу и уехал на Ближний Восток, где сделал довольно быструю служебную карьеру. Через десять лет с ним произошло религиозное обращение, и этим определилась не только его личная судьба, но содержание, смысл и значение его писательской деятельности. Главнейшие внешние этапы его жизни несущественны. Побыв дипломатом (консулы на Ближнем Востоке, по существу, исполняли и политические функции), отбившись из-за внутреннего кризиса и вообще личных дел от службы, Леонтьев потом из нужды стал цензором. Все это, однако, лишь «вид существования». Важно в дальнейшей жизни Леонтьева только одно: погружение в церковную религиозность, сближение с монахами Оптиной пустыни и наконец собственный тайный постриг — завершение внутренней борьбы и обращение к религии и Церкви.

Это обращение — потому огромный факт русской духовной истории, что Леонтьев — самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX веке.

Он был замечательным писателем, даже весьма одаренным «беллетристом», но как мыслитель, как ум он гораздо значительнее и сильнее, чем как писатель.

Его ум значительнее его художественного дарования. Его ум несравненно значительнее и богаче его образования.

## 2

В чем же значение Леонтьева как мыслителя?

В двух направлениях я вижу это значение.

Леонтьев — единственный русский писатель, который выдвинул проблему *силы* как проблему философскую. Поэтому он не только практически, но и метафизически понял природу государства и дал ему оправдание. Кстати, сам Леонтьев не считал себя метафизиком, но это верно только в школьном и банальном смысле слова. По существу же, Леонтьев в области постижения исторического процесса как философ истории и как политический мыслитель — глубоко проникающий, именно метафизический ум. Именно поэтому он постиг сверхразумные (иррациональные) и таинственные (мистические) основания бытия государства. Его постижение государства вовсе не натуралистически-позитив-

ное (как превратно думает Н. А. Бердяев), а метафизически-мистическое. У Леонтьева, конечно, были уклоны натуралистические, но эти уклоны более словесные, чем существенные, ибо самый натурализм Леонтьева овеян мистицизмом.

«Государство есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, независимому от нас, деспотическому велению внутренней, вложенной в него идеи» (с. 105). «Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть *сердце* того или другого правителя, но нация и государство — не человеческий организм. Правда, и они организмы, но другого порядка, они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно и смутно сознанные законы природы и истории» (с. 81).

Это — вовсе не натуралистическое, а именно метафизически-мистическое постижение государства, этого самого напряженного выражения силы в человеческой жизни, выражения неумолимого, ибо бескорыстного, идеального, ибо сверхличного, живого и жизненного, ибо не только живущего, но и животворящего. Мне лично эта сторона в духовном творчестве Леонтьева особенно близка и сочувственна: через собственные политические переживания, через общественно-государственный опыт я своим путем пришел к постижению объективной мистичности и мистической объективности государства. О проблеме силы и государства см. мои «Статьи о Льве Толстом» (в «Русской мысли» и в сборнике «Patriotica», есть и отдельное издание) и статьи «Великая Россия» и «Отрывки о государстве» (обе статьи в «Руской мысли» за 1908 год и в сборнике «Patriotica»).

Понимание государства сочетается у Леонтьева с чрезвычайно острым, тоже до метафизически-мистической напряженности возвышающимся ощущением *неравенства* сил и экономии природы и истории. Природа построена иерархически, история творится с бесконечным множеством неравных во всех отношениях сил. Необходимо сознательное и покорное приятие этой расчлененности и этого неравенства.

Никто в русской литературе до Леонтьева не высказал этих мыслей о государстве и неравенстве. Никто после него не говорил этого так сильно и так остро.

В этих «социологических» учениях Леонтьева сливаются и его эстетизм, его влюбленность в земную красоту, и его религиозность, его искание потусторонней правды, и наконец его своеобразный позитивизм, научная честность, неподкупность его трезвой и испытующей мысли.

Из философии силы и государства, из ясного понимания лествичного строения человечества и иерархического развертывания истории не вытекает никаких конкретных политических выводов и никаких определенных исторических предвидений. Непонимание этого составляет ту «*ошибку короткого замыкания*» (посылок и выводов), о которой я уже говорил и в которую часто впадал и Леонтьев. Из того что абсолютное всеобщее равенство невозможно и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких выводов о формах относительного равенства. Поэтому, будучи настоящим учителем и для нашего времени в отношении метафизики и мистики общественного бытия, Леонтьев не может быть таковым в отношении конкретной политики и развертывающейся на наших глазах живой истории. Успехи «демократии» не опровергают философских идей Леонтьева, и успехи «фашизма» их не подтверждают. Историческая и политическая философия и не отливает пуль ни в каком смысле, и не изготовляет политических фейерверков.

### 3

Кроме неумирающих историко-политических идей Леонтьева, он глубже всех русских светских писателей пережил и выразил христианство в его церковно-православном существе, истинном и единственно истинном для православных. В этом пункте я тоже решительно расхожусь с Н. А. Бердяевым. Суть христианства вообще, и церковного в частности и в особенности, именно в том, что оно есть *учение и путь личного спасения*.

Конечно, христианин верит в исполнение Царства Божия (но не на земле!), но ищет он сам, о себе и для себя, личного спасения. Леонтьев это существо, эту сердцевину христианства задорно, но неудачно назвал «трансцендентным *эгоизмом*». Расширяя смысл понятия и слова «эгоизм», мы упраздняем, в сущности, этот смысл. Конечно, мученики, погибая за веру, спасали *свою* душу. Но в этом смысле *эгоизм* объективно-онтологически сопричастен всякому *личному* бытию, а потому эгоистом является и тот, кто, губя «*себя*» в одном, эмпирически-телесном, смысле, спасает «*свою*» душу в другом, мистически-духовном, смысле.

Путь «личного спасения» может иметь более светлый и более мрачный отпечаток. Это дело, в конце концов, психофизиологической организации. Но, конечно, личное спасение неотъемлемо от страха Божия — и это Леонтьев понял и выразил с такой силой, с какой это не было доступно и не могло быть доступно ни одному русскому писателю (ближе всего в религиозном отно-

шении к Леонтьеву из русских писателей Гоголь, которого, впрочем, сам Леонтьев, кажется, не понимал). Ибо у Леонтьева было неразрывное с подлинным христианством чувство греха и греховности. Конечно, и в религиозной области у Леонтьева были *ошибки короткого замыкания* — он иногда политику и эстетику слишком тесно, а потому и превратно, сопрягал с религией. К таким превратным сопряжениям я отношу и всякого рода самочинные апокалиптические толкования Леонтьевым или кем бы то ни было другим исторических событий и процессов.

Поскольку же Леонтьев отрицал то, что Бердяев называет «теократической идеей», или «исканием Царства Божия» (на земле), поскольку он отвегал «христианскую общественность», он был, по моему глубочайшему убеждению, *религиозно прав*. В этом отношении он может и должен быть нашим *учителем*. Формулу Н. А. Бердяева: «В религиозном сознании К. Н. Леонтьева не было ответа на религиозную проблему космоса и человека. Он искал личного спасения, но не искал Царства Божия» (с. 261–262) — я просто не понимаю. Я не понимаю ни субъективно, ни объективно, как может христианин искать «Царства Божия» иначе как через «личное спасение». Поэтому для меня то обстоятельство, что «оптинские старцы одобряли Леонтьева более, чем славянофилов или Достоевского и Вл. Соловьева», не только не «тревожно» (с. 240), но, наоборот, *успокоительно и утешительно*.

## 4

Леонтьев как духовная личность, росшая и возраставшая, не стоит совершенно одиноко. У него есть связи с духовным прошлым, у него есть притяжения и отталкивания по отношению к современникам.

Леонтьева объединяло с *Герценом* эстетическое отталкивание от духовного типа европейского «буржуа», или «мещанина». Но в свое эстетическое отталкивание Леонтьев не влагал того политического и социального содержания, которое неотъемлемо от воинствующей антибуржуазости социалиста Герцена. Метафизически же Леонтьев был бесконечно далек от плоского материализма Герцена.

Ближе, и душевно и идейно, чем к Герцену, Леонтьев был к *Тургеневу*. Тургенев одно время был его литературным покровителем, и Леонтьев испытывал к нему влечение. Это было вовсе *не случайно*. Эстетизм Тургенева, родственный Леонтьеву, был гораздо последовательнее и целостнее, чем эстетизм Герцена.

Недаром Тургенев обмолвился афоризмом, что «Венера Милосская несомненнее принципов 1789 года». В понимании живой истории у Леонтьева было очень много точек соприкосновения с Тургеневым как автором писем к Герцену, этого лучшего произведения русской эпистолярной литературы и подлинного кладезя исторической мудрости. Несмотря на весь свой византизм и несмотря на отдельные места, звучащие даже по-евразийски, Леонтьев в своем понимании истории был ближе к «западничеству» Тургенева и даже Чаадаева, чем не только к евразийству, но даже и к славянофильству. Только Тургенев, будучи необыкновенно острым по своему историческому и политическому зрению человеком, был и в этой области далек от какого бы то ни было максимализма, в который нередко впадал Леонтьев. «Максимализм» ведь и есть лишь другое обозначение для «ошибки короткого замыкания». От этой ошибки «постепеновец» Тургенев всегда оставался свободен.

*Достоевского* Леонтьев недостаточно ценил. Метафизически-религиозно и политически Леонтьев был близок к Достоевскому, но Леонтьеву претила характерная для Достоевского примесь к христианству гуманизма и сентиментализма, отчасти совершенно самобытного, почти народнического, отчасти заимствованного у западных социалистов (главным образом у Фурье и Жорж Санд). Достоевский огромнее и могущественнее Леонтьева, ибо у первого было гениальное видение своеобразного художника-творца, с которым «беллетристическое» дарование Леонтьева не может идти ни в какое сравнение, но как ум Леонтьев был острее и глубже Достоевского.

Своеобразны и интересны отношения Леонтьева и *Владимира Соловьева*. Последний имел большое влияние на первого. В настоящее время это кажется даже невероятным. Но Соловьев прямо подавлял Леонтьева своей диалектической одаренностью и философской ученостью. Леонтьев считал Соловьева гением, хотя эта характеристика, по существу, гораздо более приложима к нему самому. В то же время нельзя сравнивать ни в какой мере ни их умственной культуры, ни литературной умелости. Образование Соловьева было огромное, в формальном смысле он умел писать (и в стихах) так, как ни один из современных ему писателей, да и вообще ни один русский писатель. И все-таки ум Леонтьева был и острее и глубже ума Соловьева и христианство Леонтьева было как-то глубже укоренено и теснее спаяно с ядром его личности, чем у Соловьева. Впрочем, Соловьев вообще остается человеком загадочным и неразгаданным — и таково у меня впечатление и от его писаний в целом, и от немногих лич-

ных встреч. В конце жизни Леонтьев резко порвал с Соловьевым. Это была эпоха наибольшего увлечения Соловьева своим призванием либерального публициста.

Из позднейших писателей очень высоко ставил Леонтьева *В. В. Розанов*. Между ними была переписка. В. В. Розанов был, несомненно, гениальным писателем, хотя того, чем был силен Леонтьев, острого и глубокого ума, у Розанова совсем не было. Категория «ума» вообще неприложима к Розанову. Розанов был замечательный до гениальности писатель, не будучи ни умным, ни, еще менее, честным человеком в общепринятом смысле слова. Но своим чутьем, совсем особым, не исследовательским, не художническим, а каким-то хитрым проникновением, Розанов один из первых понял гениальность Леонтьева и воздал ему должное.

* *
*

Константин Леонтьев — огромное явление русской духовной культуры, и знать о нем и его должен всякий, кто желает блюсти и ценить культуру.